

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ПАМЯТИ БОРИСА РЫЖЕГО (1974-2001)

Борис Рыжий – известный российский поэт. Период его литературной деятельности был очень недолог. Он выпустил всего две книги стихов – «И все такое...» (СПб., 2000) и «На холодном ветру» (СПб., 2001).

В стихах своих Б. Рыжий создал особый мир – мир города Свердловска. В нем действует особенный герой – мечтательный и нежный хулиган-поэт, вооруженный, впрочем, скорее лирой, нежели «вольной». Он испытал любовь, разлуку, глюки, прошел сквозь КПЗ и мордобой. Он видел все: звезды в синих лужах, и колыхание сирени, и как прожекторы ночного дискотеки гуляли по зеленым облакам. Он слышал таинственную музыку и знал ей цену. У него есть сын.

В общем, Борису Рыжему удалось сочинить героя с запоминающимся голосом и лицом и обустроить для него подходящее место обитания. Прибавим сюда удачно сложившуюся литературную судьбу самого автора, который довольно быстро обретает признание, известность и успех: в 1999-м году он становится лауреатом «Антибукера», а в 2000 – «Северной Пальмиры», в 2000-м же он вместе с Евгением Рейном представляет Россию на Конгрессе мировой поэзии в Роттердаме, его стихи переводятся на европейские языки. И получится картина удивительно полная и завершенная. Не хватает только смерти, ибо, «кто кончил жизнь трагически, тот – истинный поэт». На двадцать седьмом году жизни Борис Рыжий уходит.

И остается ощущение, будто его жизнь, его поэзия – это черновик, лишенный перспективы беловика, уменьшенная копия какого-то так и не осуществившегося оригинала. Да, все было, но вышло словно в миниатюре, полной подробностей, прекрасной, тонкой миниатюре. В сущности, все свершения Бориса Рыжего должны были стать блестящим началом, и мысль об этом придает его стихам какое-то убийственное звучание. Только не будем говорить, что это «входило в авторский замысел». Его стихи оказались так и не сдержанным обещанием. Почти весь он остался в будущем.

Ниже мы предлагаем Вашему вниманию статьи, в которых с разных точек зрения рассматривается творчество Бориса Рыжего.

Л.П. Быков

«ЛИЦА НЕ ПРЯЧА, СЕРДЦА НЕ ТАЯ...»

Лирика — тест на аутентичность.
Всеволод Некрасов

Эта частная жизнь
С вечной музыкой обнялась.
Борис Рыжий

Ни одна смерть, если не считать кончины Бродского, не отзывалась в последнее десятилетие таким количеством стихов, сколько их вызвал тот непоправимый выбор, какой сделал Борис Рыжий — «поэт трагических забав» (по определению Евг. Рейна). Посмертные ему посвящения напечатали «Новый мир», «Октябрь», «Звезда», «Арион», «Urbi», «Урал»...

Что же заставило тех, кто в наше прозаическое время еще читает стихи и пишет их, запомнить эту фамилию, больше похожую на цирковой псевдоним? Несколько публикаций в региональной и центральной периодике, победа — чуть раньше (1996) — на Всероссийском Пушкинском поэтическом конкурсе студентов, Антибукер 1999 года, участие в международном конгрессе поэтов (Роттердам. 2000), две

книги стихов, изданные петербургским «Пушкинским фондом» («И все такое...», «На холодном ветру»), — вторая, вышедшая уже после смерти автора, была удостоена премии «Северная Пальмира».

Одна из развернутых журнальных подборок молодого поэта, напечатанная «Знаменем» (1999, № 4), за которую он и получил Малого Антибукера, называлась «From Sverdlovsk with love» (Из Свердловска с любовью). Английский шрифт акцентировал полемическую переключку с озвученной Нобелевским лауреатом формулой «Ниоткуда с любовью».

Борис Рыжий был натурой сколь рефлексирующей, столь и амбициозной и, хотя и гордился тем, что «первый в городе поэт», никогда не оценивал себя «в масштабах города»: «Я хотел писать лучше, чем Пастернак, лучше, чем Бродский». Но его муза прочно связала себя с тем местом, где этот уроженец Челябинска (родившийся 8 сентября 1974 года) жил с шестилетнего возраста

Леонид Петрович Быков — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы XX века Уральского государственного университета.

та, где в мае 2001 года сам ушел из жизни и где — будто в подтверждение его строк, в которых юношеской бравады не больше, чем хорошо осознаваемой горечи, — был похоронен:

Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.

Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, в Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище свердловском.
Не в плане не лишённой красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому, что там мои кенты,
их профили на мраморе и розы...

Человек постсоветской формации, он не хотел быть больше, чем поэтом. Но и считать себя только поэтом (в романтической традиции) или только сочинителем стихотворных текстов (в угоду постмодернистским нравам) тоже не мог. От рождения не восприимчивый к риторике шестидесятников, Рыжий оказался защищен и от тотального скептицизма, подчинившего многих его ближайших предшественников и ровесников. Он жил и писал всерьез, «лица не пряча, сердца не тая», противопоставляя всеразъедающей иронии всепроникающую элегичность.

Эта элегичность казалась для его возраста явно преждевременной и потому литературной. Среда авторов, повлиявших на поэтическое самообразование выпускника Горной академии, кто только ни назывался: Блок и Есенин, Полонский и Анненский, Ходасевич и Георгий Иванов, Слуцкий и Горбовский. В многочисленных интервью сам поэт говорил о приязни и к другим авторам из XIX и XX веков. Но позицию и интонацию, свое творческое поведение он не вычитал, а вычувствовал.

Самый, пожалуй, ценный им из современников — Евгений Рейн (этот, по выражению Бродского, элегический урбанист) начал одно из стихотворений строкой: «Давным-давно, пятнадцать лет назад...» У Рыжего элегическая дистанция зачастую много короче. В том возрасте, в котором обычно живут если не будущим, то настоящим, он все время поворачивает душу во вчера, в личное прошлое. «Будь что было!» — вот его девиз, в какой вполне укладывается и дарованное последующими годами трезвое понимание: «Даже если дело было дрянью».

Прошлое для него не прошло. Как поэт — он убеждает в этом других и себя. Хотя как человек не может не сознавать: «А жизнь проходит...» Своими стихами он воскрешает

мгновения былого: «Я сам не знаю то, что знает память». А память его дорожит пропиской на заводской окраине областного центра, где «сушится на каждом на балконе / то майка, то пальто, / то неизвестно что», — там прошла юность автора:

Я родился — доселе не верится —
в лабиринте фабричных дворов
в той стране голубиной, что делится
тыщу лет на ментов и воров.

Один из любимых его эпитетов — *тусклый*. Но в *тусклом* свете памяти с парадоксальной отчетливостью проступают и соседи по дому — вечно нетрезвые что слева, что справа, и в белых фартуках одноклассницы, в которых детски влюблялся, и хулиганистые корешки со двора:

Вот здесь я жил давным-давно —
смотрел кино, пинал говно
и пьяный выходил в окно.
В окошко пьяный выходил,
буровил, матом говорил
и нравился себе и жил.
Жил-был и нравился себе
с окурком «БАМа» на губе.

«Промышленной зоны красивый и первый поэт», Рыжий сознавал себя доверенным лицом тех, кто последние стихи прочел, скорее всего, в начальной школе. Недаром он получает от «зеленого змия», взявшего на себя в сегодняшнем мире функции *шестикрылого серафима*, красноречивый императив: «Ступай, он рек, вали и жги глаголом / сердца людей, простых Марусь и Вась...»

Понятно, почему столь раскрепощен его словарь. Дворовой лексики он не только не чурается — он ею бравирует, не упуская случая блеснуть ее знанием. Но тут опять-таки не модное ныне стремление к эпатажу — просто дворовой сленг связует того, кто «в натуре поэт», с теми, кто иных слов, кроме «чмо», «шобла», «мочи его», не знает и не понимает. Это общий язык автора с теми, с кем его ничто уже не роднит — кроме памяти и языка. Языка памяти. Памяти языка.

Пойду в общагу ПТУ,
Гусар, повеса из повес.
Меня обуют на мосту
три ухаля из ППС...

Рыжий пишет не о себе — он себя пишет. И, запечатлевая свое существование в ландшафте городского предместья, отчетливо сознает, что именно эта диспозиция его душе по размеру. Тут для него как автора двойная радость — и от узнаваемости, точности воспроизведения персонажей, сюжетов, подробностей и потребностей вчерашнего дня, и от понимания того, что *то* время и *то* место нигде больше не сохранились, как только в его памяти, в его стихах. Свою миссию он видит

именно в этом: личную ностальгию представить как мифологию куда более общего порядка:

Вспомним все, что помним и забыли,
все, чем одарил нас детский бог.
Городок, в котором мы любили,
в облаках затерян городок.

Приметы пространства становятся приметами времени — причем не столько исторического, социального (хотя и его: «Восьмидесятые, усатые, / хвостатые и полосатые...»), сколько лирического, экзистенциального, связанного с ощущением невозвратимости пленительной поры — между отрочеством и юностью. Пленительной — вопреки всему:

А грустно было и уныло,
печально, да ведь?
Но все осветит, все, что было,
исправит память.

Если искать этому стихотворному ретро экранный аналог (а магия кино и кинозала владела Борисом), то это будет, конечно же, не документальное кино, а тот кинематограф, который привычно именуют авторским. Фрагменты недавнего прошлого становятся свидетельствами нынешнего состояния души, не представляющей себя вне того, что, казалось бы, неумолимо и безвозвратно отнято бегом лет. То, что ускользнуло из жизни человека, проступает как дрящаяся жизнь поэта.

Россия — старое кино.
О чем ни вспомнишь — все равно
на заднем плане ветераны
сидят, играют в домино...

Городская окраина 80-х предстает в этой лирике ландшафтным двойником «вечного мальчика», глубокой и точной рифмой к его состоянию в том настоящем, когда стихи о прошлом пишутся. И «неотразимой музыкой

былого» наполняется сознание того, кто читает эти стихи сегодня.

Что же касается мальчика, он исчезает.
А относительно пения, песня легко
то форму города некоего принимает,
то повисает над городом, как облако.

Известно, утрату — любви, юности, жизни, наконец, — поэт способен утвердить как обретение. «И бесконечность прошлого, высвеченная тускло», проявляет эту обольщенность сущим, о какой человеку взрослому применительно к своему будничному настоящему говорить не пристало. Потому-то и возникает ретроспекция, позволяющая «мальчишкой в серой кепочке остаться, / самим собой, короче говоря». Сквер будет назван именем моим», — предсказывал он в стихах, опубликованных уже по-смертно. И пророчество сбылось. Нет, парк в Екатеринбурге не расстался с именем Маяковского, а сквер продолжает носить имя Павлика Морозова. Но житье-бытье уральской «промзоны», где в парке скучает гипсовая девушка с веслом, где «красный флаг с серпом висит над ЖЭКом», где «пропойца под окошком пел о том, / как много в мире тюрем и больниц», неотделимо теперь от строк Бориса Рыжего.

Нас, земляков по месту и времени, он, как и подобает поэту, сберег от вселенской энтропии.

— Кто эти мудочесы?
— Это — со мной.

Он имел право так подытожить воображаемый «Разговор с небожителем», изъясняющимся подобно видевшему виды лагерному авторитету. За покровительственной бравадой — знающая себе цену искренность. Понимание того, как много может поэт. Не Пушкин. Не Лермонтов. Не Блок. Не Бродский. Рыжий.